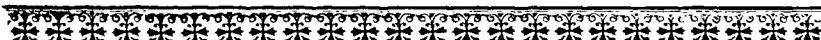


Городенский Н. Г. Нравственное суждение и его психологическая природа // Богословский вестник 1902. Т. 1. № 1. С. 67–105 (2-я пагин.).



НРАВСТВЕННОЕ СУЖДЕНИЕ И ЕГО ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИРОДА.

Нравственное суждение состоитъ въ томъ, что мы называемъ извѣстныя человѣческія дѣйствія добрыми или злыми, нравственно - хорошими или нравственно - дурными. Какова природа этого сужденія?

Человѣческія сужденія о вещахъ, какъ бы они ни были разнообразны, могутъ быть раздѣлены на двѣ группы: одни изъ нихъ имѣютъ природу чисто-логическую, другія — въ одно и то же время и логическую и тимологическую. Первые сужденія безстрастны, такъ какъ они не имѣютъ никакого отношенія къ личному интересу: здѣсь предполагается только наличность извѣстнаго объективнаго отношенія между двумя терминами, между субъектомъ и предикатомъ. Таковы наши сужденія, когда мы говоримъ: желѣзо есть металлъ, вода можетъ испаряться, всякое явленіе должно имѣть причину и т. п. Всѣ эти сужденія такого рода, что они могутъ или должны быть приняты всякимъ независимо отъ его личныхъ вкусовъ, потребностей, интересовъ; они могли бы имѣть мѣсто даже въ томъ случаѣ, если бы вся психика человѣка сводилась къ механизму логического мышленія.— Въ сужденіяхъ второго рода, напротивъ, къ чисто-логическому отношенію терминовъ присоединяется субъективный интересъ: суждение превращается въ актъ оцѣнки, указывающей на отношеніе вещей и явленій къ нашей волѣ. Въ предикатѣ такихъ сужденій мы всегда найдемъ непосредственное или отдаленное указаніе на чувство. Несомнѣнно, что нравственное суждение принадлежитъ къ этой второй

категорії: оно есть суждение оцѣнивающее. Слѣдовательно, для выясненія его отличительной природы нужно обратить внимание на то, какой именно интерес лежитъ въ основѣ нравственной оцѣнки.

Повидимому, наши интересы такъ же разнообразны, какъ разнообразны наши потребности или наклонности: намъ нужны пища, одежда, жилище, общество, развлечения и т. д. Сообразно съ этимъ мы говоримъ о *вкусной* пищѣ, *удобной* одеждѣ, *уютномъ* жилищѣ, *общительныхъ* людяхъ, *веселой* жизни, выражая всѣми этими эпитетами свою оцѣнку. Каждый изъ этихъ видовъ оцѣнки предполагаетъ свой масштабъ, указываемый данною частною потребностью. Легко однако понять, что такое обиліе масштабовъ оцѣнки было бы крайне неудобно, если бы мы не имѣли возможности сравнивать между собою разнообразные виды цѣнностей, если бы, иначе говоря, мы не имѣли какого-либо болѣе общаго масштаба оцѣнки. Въ дѣйствительности мы имѣемъ такой масштабъ въ силѣ данныхъ потребностей и въ степени соотвѣтствующаго имъ удовольствія. При этомъ, какъ существа способныя къ воспоминанію и предвѣдѣнію, мы можемъ принимать въ разсчетъ не одинъ только данный моментъ, а всю вообще жизнь, опредѣляя, насколько важное мѣсто данная потребность занимаетъ въ жизни вообще и насколько удовлетвореніе ея можетъ содѣйствовать общей суммѣ жизненныхъ наслажденій, или счастью.—Съ этой точки зреянія мы можемъ оцѣнивать и человѣческія дѣйствія, одобряя ихъ въ той мѣрѣ, въ какой они доставляютъ намъ удовольствіе, или содѣйствуютъ нашему счастью. Не составляетъ ли эта оцѣнка нашихъ дѣйствій сущности нравственного сужденія о нихъ? Или, можетъ быть, называя извѣстныя дѣйствія нравственно хорошими, мы разумѣемъ, что они удовлетворяютъ особенной, специальной потребности и потому составляютъ лишь особый видъ удовольствія, который долженъ быть поставленъ на ряду съ вышеуказанными разнообразными интересами? Тогда, называя дѣйствіе нравственно хорошимъ, мы разумѣли бы только то, что оно само по себѣ и непосредственно есть извѣстный видъ наслажденія.

Несомнѣнно то, что нравственно доброе само по себѣ намъ пріятно, а нравственно дурное непріятно. Но наше сознаніе говорить намъ, что эти чувствованія не относятся къ существу нрав-

ственной оцѣнки, что не ихъ мы имъемъ въ виду, когда ведемъ рѣчь о нравственномъ и безнравственномъ. Какъ бы близко ни соприкасались доброе и пріятное въ реальныхъ фактахъ психологии, для нашего сознанія они никогда не перестаютъ быть до извѣстной степени противоположными. Эта противоположность тотчасъ ясно даетъ себя почувствовать, какъ только мы попробуемъ въ своемъ сознаніи поставить добродѣтель и удовольствіе въ отношеніе средства и цѣли; одно предположеніе, что добрый поступокъ служитъ средствомъ для полученія удовольствія тотчасъ же вносить внутреннее противорѣчіе въ понятіе доброго дѣла: добродѣтель остается сама собою лишь до тѣхъ поръ, пока она безкорыстна; какъ только въ основѣ ея будетъ предположено стремленіе къ удовольствію, она перестаетъ быть добродѣтелью. Сами гедонисты не могутъ отрицать этого факта, но они думаютъ, что въ этомъ случаѣ нѣтъ противоположности между добродѣтельнымъ поступкомъ и удовлетвореніемъ любой естественной потребности: совершать добродѣтельный поступокъ, имѣя въ виду его конечную цѣль, т. е. удовольствіе, говорятъ они, точно такъ же служить признакомъ ненормального состоянія нравственной природы, какъ является признакомъ ненормальности ють не для удовлетворенія аппетита, а для полученія удовольствія. Однако гедонисты въ этомъ случаѣ ошибаются: противоположность между добродѣтелью и удовольствіемъ остается во всей силѣ и здѣсь. Если вообще не-нормально принимать пищу, имѣя въ виду только извлечь отсюда извѣстного рода удовольствіе, то все-таки въ минуты яснаго обсужденія послѣднихъ мотивовъ этого дѣйствія можно прийти къ выводу, что они въ сущности сводятся къ удовольствію, и наше сознаніе не будетъ оказывать противъ такого вывода никакого особенного протеста; напротивъ оно найдетъ вполнѣ естественнымъ, если мы цѣнность принятія пищи, поскольку она можетъ быть нами сознаваема, по крайней мѣрѣ ближайшимъ образомъ, — сведемъ къ чувству удовольствія. Совсѣмъ другое дѣло, когда рѣчь идетъ о добродѣтели; одна мысль о томъ, что удовольствіе, заключающееся въ ней, можетъ быть ея мотивомъ или выражать собою ея цѣнность, разрушаетъ понятіе о добродѣтели и вызываетъ протесты нашего сознанія. Сверхъ того, нужно обратить вниманіе еще на одно обстоятельство. Съ

той точки зрѣнія, на которой мы сейчасъ стоимъ, преимущества добродѣтели должны бы были измѣряться силою нравственнной потребности и интенсивностью доставляемаго ею удовлетворенія. Между тѣмъ, признавая нравственный масштабъ самыи высокими, мы никакъ не можемъ доказать, чтобы лежащая въ основѣ его потребность и соответствующее ей удовольствіе превосходили всѣ другія потребности и удовольствія своею интенсивностью. Не только наше сознаніе, но и поступки наши на каждомъ шагу убеждаютъ насъ, что наши нравственные побужденія очень слабы сравнительно съ противоположными влечениями, и весь трагизмъ нашего нравственнаго положенія заключается именно въ томъ, что мы „добра, котораго хотимъ, не дѣлаемъ, а злое, котораго не хотимъ, дѣлаемъ“¹⁾. Но въ такомъ случаѣ все дѣло можетъ быть въ томъ, что нравственная потребность, уступая часто противонравственнымъ влечениямъ по своей силѣ въ данный моментъ, превосходитъ ихъ своимъ постоянствомъ? Вслѣдствіе этого мы можемъ подчиняться вспышкамъ безнравственныхъ желаній только потому, что желаніе данного момента одерживаетъ верхъ надъ побужденіями, болѣе важными для счастья цѣлой жизни. Такъ какъ однако подчиненіе болѣе сильному въ данный моментъ побужденію не устраиваетъ въ насъ сознанія того, что общая сумма счастья, доставляемаго нравственнымъ побужденіемъ, гораздо больше и что, слѣдовательно, жертвовать имъ неразсчетливо, то высшая оцѣнка остается на сторонѣ этого побужденія. Однако и этого нельзя сказать, потому что мы видимъ, что многія противонравственные наклонности отличаются гораздо большимъ постоянствомъ, чѣмъ нравственная потребность, которая съ своей стороны очень легко стушевывается и совсѣмъ заглушается противонравственными склонностями и, слѣдовательно, далеко не всегда дана въ сознаніи.

Точно также нельзя свести нравственную оцѣнку къ удовольствію, предполагая, что удовольствіе это не заключается въ нравственномъ дѣйствіи самомъ по себѣ, но что оно является для него постороннею, внѣ его лежащею цѣлію. Съ этой точки зрѣнія добродѣтель можетъ представлять собою

¹⁾ Рим. VII, 19.

даже самопожертвование, но опять-таки весьма относительное, потому что она имѣеть въ виду будущемъ получить такое удовольствие, которое далеко превосходитъ ближайшимъ образомъ соединенное съ нею страданіе. Но и здѣсь опять мы встрѣчаемся съ протестами нравственного сознанія, не позволяющаго сводить оцѣнку добродѣтели къ какимъ-бы то ни было пріятнымъ послѣдствіямъ, связаннымъ съ нею въ ближайшемъ или отдаленномъ будущемъ. Такое представление точно такъ же, какъ и предыдущее, разрушаетъ самое понятіе о добродѣтели. „Въ человѣческой совѣсти, справедливо говорить Лекки, во всѣхъ вѣка нашло бы себѣ отголосокъ изреченіе Цицерона, что жертвовать какимъ-нибудь наслажденіемъ, имѣя въ виду взамѣнъ его получить другое наслажденіе или видоизмѣненіе того же самаго,—такъ же мало соотвѣтствуетъ нашему понятію о добродѣтели, какъ отдавать деньги въ ростъ—нашему понятію о благотворительности. Мысль о самомъ чистомъ безкорыстіи служить предположеніемъ всѣхъ нашихъ сужденій о добродѣтели. Она представляетъ собою корень всѣхъ тѣхъ чувствъ, съ которыми мы взираемъ на дѣла героизма. Мы чувствуемъ, что человѣкъ можетъ стремиться къ тому, что онъ считаетъ добромъ, хотя бы слѣдствіемъ этого были страданія, несчастія, душевныя муки, и преждевременная смерть, и хотя бы никакая надежда на будущую жизнь не озаряла его могилы. Въ этомъ — высшее преимущество нашего существа, точка соприкосновенія человѣческой природы съ божественной“¹⁾).—Нельзя съ другой стороны не принять во вниманіе и того, что и въ этомъ случаѣ человѣческое сознаніе слишкомъ грубо ошибалось бы, если бы оно цѣнило добродѣтель такъ wysoko, какъ это мы видимъ, только въ виду того количества счастья, которое она за собою ведетъ. Высокія преимущества добродѣтели ни въ какомъ другомъ случаѣ не могутъ быть болѣе сомнительными, чѣмъ тогда, когда мы будемъ разматривать ее исключительно какъ средство для достижени счастья. Есть множество путей, если не прямо дурныхъ, то, по крайней мѣрѣ, нравственно безразличныхъ, при помощи которыхъ счастье достигается легче и вѣрнѣе, нежели при помощи добродѣтели. Есть

¹⁾ Lecky, Sittengeschichte Europas. 1879. B. 1, S. 64.

много условій счастья и помимо человѣческой дѣятельности—въ окружающей человѣка средѣ и въ его собственной организації,—которыя имѣютъ болѣе важное значеніе для счастья, чѣмъ добродѣтель: счастье человѣка, какъ говоритъ Карлейль, менѣе зависитъ отъ состоянія его совѣсти, чѣмъ отъ состоянія его печени. Однако только циникъ можетъ сказать, что здоровая печень стоитъ выше добродѣтели.

Итакъ, мы прежде всего находимъ, что тотъ интересъ, который лежитъ въ основѣ нравственного сужденія, непремѣнно стремится быть *безкорыстнымъ*. Называя извѣстный поступокъ посторонняго человѣка хорошимъ или дурнымъ въ нравственномъ смыслѣ, мы совершенно отвлекаемся отъ мысли о нашемъ собственномъ благополучіи или удовольствіи, совершенно игнорируемъ его отношеніе къ нашей личной жизни; въ противномъ случаѣ нравственная оцѣнка теряетъ свою истинную сущность и обращается въ простое лицемѣріе. Эта черта оказывается еще яснѣе, когда нравственная оцѣнка является мотивомъ нашего личнаго поведенія. Если мы совершаємъ актъ самопожертвованія для спасенія жизни ближняго, то этотъ поступокъ можетъ быть названъ высоконравственнымъ лишь въ той мѣрѣ, въ какой мотивы личнаго характера здѣсь отсутствовали; но стоять только примѣшаться къ нашимъ мотивамъ мысли о послѣдствіяхъ поступка для нашего благосостоянія, или вообще своеокорыстю въ какой бы то ни было формѣ, какъ поступокъ въ нашемъ сознаніи потеряетъ свою цѣнность *какъ разъ настолько*, насколько онъ потерялъ въ своемъ безкорыстіи. Такимъ образомъ, съ отрицательной стороны нравственный интересъ прежде всего характеризуется какъ абсолютно безкорыстный.

Съ положительной стороны нравственный интересъ характеризуется, какъ *объективныи*. Въ основаніи его лежитъ не мысль объ удовольствіи, а идея достоинства или совершенства. Если исключить тѣ случаи употребленія понятій—достоинство и совершенство, когда они указываютъ только на степень полезности или пріятности (напр., достоинство кушанья, достоинство товара, совершенство хозяйственной техники), то эти понятія указываютъ на то, что существуетъ цѣнность, независимая отъ нашихъ чувствъ, склонностей и

желаний, заключающаяся въ самой природѣ вещей. Эта цѣнность можетъ являться нашему сознанію въ видѣ извѣстнаго опредѣленнаго образца или нормы, съ которыми мы сравниваемъ наше поведеніе, указаніе на нее можетъ быть дано въ формѣ чувства, она можетъ дѣлаться предметомъ горячихъ желаний, сердечныхъ чаяній и свѣтлыхъ надеждъ, она можетъ идти и наперекоръ нашему душевному настроенію,—но во всякомъ случаѣ она сама по себѣ представляется столь же мало зависящею отъ нашихъ субъективныхъ движений, какъ мало, напримѣръ, законы природы зависятъ отъ того представленія, какое обѣихъ имѣютъ люди. Это притязаніе на объективную значимость есть выдающаяся черта нравственнаго сужденія, настолько неспоримо присущая нашему сознанію и такъ хорошо извѣстная всѣмъ намъ, что ея никакимъ образомъ нельзя и не нужно игнорировать при анализѣ нашего понятія о нравственномъ. Она нашла себѣ ясное выраженіе съ одной стороны въ нашемъ языкѣ, съ другой въ нашихъ воззрѣніяхъ на область примѣненія и на характеръ значенія нравственныхъ нормъ и правилъ.—Въ своемъ словесномъ выраженіи нравственная оцѣнка неизмѣнно принимаетъ объективную форму. Желая обозначить свое субъективное настроеніе, или отношение вещей къ нашей личной жизни, мы говоримъ: *мы* больно, *мы* холодно, *мы* полезно, *мы* вредно и т. д. Но мы никогда не употребимъ такой формы, говоря о благородномъ или низкомъ поступкѣ¹⁾. Это, безъ сомнѣнія, потому, что поставляя свои нравственные приговоры, мы вовсе не заинтересованы въ этомъ случаѣ нашимъ *я*, его пріятными или непріятными чувствованіями; эти чувствованія всегда могутъ быть на лицо въ данную минуту, но они являются элементомъ, такъ сказать, не относящимся къ сущности дѣла; единственная вещь, которая для насъ здѣсь важна,—это, именно, данное намъ объективное отношеніе между поступкомъ и его нормой или цѣлію.—Въ связи съ этою же чертою нравственной оцѣнки стоитъ мысль о ея *всеобщей* значимости. Нравственная норма не есть наша личная принадлежность, нравственное совершенство не есть дѣло нашего субъективнаго вкуса: то и другое, такъ сказать, лежитъ въ основѣ міро-

¹⁾ Ср. *Steinthal*, Allgemeine Ethik. Berlin. 1885. S. 50.

правленія, поэтому они должны быть одни и тѣ же для всѣхъ. Есть предметы, пріятные или непріятные большинству людей. Но мы никогда не станемъ утверждать, что известное кушанье, запахъ, цветъ должны быть пріятны *всему*. Мы хорошо знаемъ, что предметъ, вызывавшій удовольствіе въ 99 случаяхъ, въ 100-мъ можетъ вызвать обратное чувство, и находимъ это совершенно естественнымъ. Напротивъ, мы убѣждены, что существуетъ въ каждомъ положеніи истинная нравственная оцѣнка, обязательная для всѣхъ людей. Правда дѣйствительность не соотвѣтствуетъ, повидимому, такому убѣжденію: она показываетъ, что нравственные сужденія людей разнообразны до противоположности, что они мѣняются въ зависимости отъ мѣстныхъ и культурныхъ условій народной жизни, отъ индивидуальныхъ характеровъ и субъективныхъ склонностей. Но мы рассматриваемъ это явленіе, какъ доказательство несовершенства нравственной оцѣнки, не всегда совпадающей съ правильной нравственной мѣркой, подобно тому, какъ не всегда наше познаніе совпадаетъ съ истиной. — Уже въ этой послѣдней чертѣ нравственного сужденія — ея притязаніи на всеобщность — скрывается указаніе на дальнѣйшій ея признакъ, обыкновенно называемый *необходимостью*. Если мы приписываемъ нравственной оцѣнкѣ всеобщность, то мы выражаемъ убѣженіе нестолько въ томъ, что всѣ люди ее будутъ раздѣлять или дѣйствительно раздѣляютъ, но гораздо болѣе въ томъ, что всѣ люди *должны* ее раздѣлять, и не только раздѣлять теоретически, но и слѣдовать ей практическі. Точно также относительно себя я признаю, что я *обязанъ* не только принять данную оцѣнку, но и поступать сообразно съ ней. Нужно признать, что эта обязательность въ своемъ основномъ видѣ, помимо осложняющихъ психологическихъ элементовъ, тождественна по роду съ интеллигентуальною необходимостью въ сферѣ познанія, или съ умственною очевидностью, отличаясь отъ нея лишь практическимъ характеромъ. Но когда предпринимаются попытки доказать, что необходимость не составляетъ отличительного признака нравственного сужденія — только на томъ основаніи, что сознаніе обязательности сопровождаетъ наши поступки всякий разъ, когда мы ставимъ себѣ известный принципъ, хотя бы послѣдний не имѣлъ ничего общаго съ

нравственными побуждениями, то здѣсь имѣть мѣсто явное недоразумѣніе: впервыхъ мы должны оставить въ сторонѣ сознаніе внутренняго, психического усилія и самопринужденія, необходимаго при всякой внутренней борьбѣ, какими бы принципами она ни опредѣлялась; во вторыхъ, нужно помнить разницу, указанную Кантомъ, между *категорическимъ* и *гипотетическимъ* императивомъ¹⁾. Первый императивъ безусловенъ, онъ не допускаетъ никакихъ вопросъ объ основаніяхъ и цѣляхъ, потому что онъ имѣть дѣло съ послѣднимъ принципомъ, обязательность котораго такъ же непосредственно очевидна, какъ и то, что $2 \times 2 = 4$; напротивъ необходимость гипотетического императива указываетъ только на логическое *отношеніе* цѣли и средства, нисколько не утверждая, что цѣль сама по себѣ необходима. Имѣя въ виду это различіе, мы должны признать, что категорическая обязательность составляетъ одинъ изъ признаковъ нравственного сужденія.

Итакъ, критерій нравственного сужденія сводится къ идѣи объективнаго достоинства, или совершенства: мы обсуждаемъ здѣсь вещи не съ точки зрѣнія пріятности или непріятности, а съ точки зрѣнія *высоты* или *низости*. Это сказывается не только въ обычномъ словоупотребленіи и въ ходящихъ убѣжденіяхъ здраваго смысла, но и во всякой научной нравственной системѣ. Нравственная система всегда можетъ обойтись безъ понятій пріятнаго и непріятнаго, но ни одна не можетъ обойтись безъ сравненія между болѣе или менѣе совершенными типами жизни или характера, между высшими и низшими влеченіями, потребностями, идеалами, удовольствіями и т. д. Безъ этого критерія и соответствующихъ ему терминовъ не могутъ обойтись даже и тѣ системы, которые не въ состояніи съ своей точки зрѣнія вложить въ нихъ ихъ надлежацій смыслъ, и изъ этого становится особенно яснымъ, что именно здѣсь, въ этихъ понятіяхъ, нашла себѣ выраженіе отличительная природа нравственного. Это не есть только потребность, стоящая на ряду съ другими на равныхъ съ ними правахъ—мѣряться другъ съ другомъ только силой; нравственная точка зрѣнія су-

¹⁾ Kant, Grundlegung zur Metaphysik der Sitten. Изд. Kirchmann'a, S. 36 sq.

дить самыя потребности, притомъ вовсе не соображаясь съ ихъ силою. Это не есть и общая сумма потребностей, потому что нѣкоторыя изъ нихъ она отвергаетъ и клеймить позоромъ, а другія совершенно игнорируетъ. Нравственность также не есть ни общая сумма, ни только особый видъ счастья, хотя и можетъ нести съ собою счастье. „Духовной сторонѣ нашей природы, говорить Лекки, не потому приписывается превосходство передъ физическою, что она наиболѣе способствуетъ нашему счастью. Превосходство ея другого рода, и ясно опредѣляется эпитетами *высшій* и *низший*“. Правда то, что удовлетвореніе нравственныхъ требованій сопровождается удовольствіемъ, но для большинства людей, вопреки учению гедонистовъ, „ясно, что никакое вкусовое удовольствіе, хотя бы увеличенное въ сто разъ, не можетъ равняться съ удовольствіемъ, почерпаемымъ изъ великодушного поступка, и это именно не потому, что послѣднее чрезвычайно интенсивно, но потому что оно *высшаго рода*.... Отсюда очевидно, что различныя части нашей природы, къ которымъ относятся эти различныя удовольствія, находятся между собою въ отношеніи, которое можно ясно и точно обозначить словами *высшій* и *низший*¹⁾.

Мы старались доселѣ показать отличительную природу и характеристическая черты критерія нравственного сужденія. Не смотря однако на то, что мы не выходили изъ предѣловъ того, что содержится въ нравственномъ сознаніи каждого человѣка, мы не можемъ не видѣть, что положенія, выставленные нами, вызываютъ серіозныя возраженія. Сущность ихъ, главнымъ образомъ, сводится къ слѣдующему: „безкорыстный и объективный интересъ“, „объективная цѣлность“, „объективное достоинство“—всѣ эти понятія не заключаютъ ли въ себѣ внутренняго противорѣчія? Говорить о безкорыстномъ интересѣ или объективной цѣлности не все ли равно, что говорить о горячемъ холодѣ или о сладкой горечи? Интересъ, повидимому, уже въ самомъ своемъ понятіи указываетъ на „корысть“: умѣстно ли поэтому соединять это понятіе съ эпитетомъ „безкорыстный“? Цѣлность можетъ, повидимому, существовать только для „субъекта“,

¹⁾ *Lecky, Sittengeschichte*, 80—82.

есть ли смысл поэтому говорить объ „объективной“ цѣнности?—Изъ этого возраженія нужно прежде всего устранить нѣкоторую двусмысленность. Своекорыстіе можно понимать въ смыслѣ болѣе или менѣе сознательного расчета на удовольствіе и вообще стремленія къ самоудовлетворенію, въ смыслѣ исключительного преслѣдованія эгоистическихъ интересовъ, которое, если иногда и не проявляется прямо, то только потому, что находится для себя болѣе выгоднымъ прикрыться маскою добродѣтели и самоотреченія; и можно говорить о своекорыстіи въ томъ только смыслѣ, что каждый актъ воли, по самому понятію о немъ, заключаетъ въ себѣ исканіе удовлетворенія. Утвержденія, что вся человѣческія дѣйствія своекорыстны въ первомъ смыслѣ этого слова, хотя и были въ ходу въ прежнее время, теперь должны быть отнесены къ области наивнаго пустословія и не заслуживаютъ серьезнаго опроверженія. Напротивъ, отрицать своекорыстіе нашихъ поступковъ во второмъ смыслѣ слова было бы равносильно тому, какъ если бы мы стали утверждать, что человѣкъ можетъ выскочить изъ самого себя, или прыгнуть выше собственной головы: если бы наша воля не искала удовлетворенія, то она не была бы волей. При этомъ пониманіи самое слово безкорыстіе теряетъ всякой смыслъ и обращается въ пустой звукъ.—Но не трудно видѣть, что именно въ этой формѣ возраженіе утрачиваетъ значительную часть своей остроты. Это лучше всего выясняется при помощи примѣра, который даетъ намъ теорія познанія. Гносеологической анализъ говоритъ намъ, что мы не знаемъ непосредственно какихъ-бы то ни было виѣшнихъ объектовъ, а знаемъ только наши ощущенія и представлениа, которые мы проектируемъ виѣ нась, воображая, что мы имѣемъ дѣло съ дѣйствительными объектами. Утверждать, что человѣкъ можетъ знать объекты, а не свои собственные душевныя состоянія, значитъ предполагать, что сознаніе можетъ выступить само изъ себя; но это бы значило, что сознаніе перестало быть само собою. Съ этой точки зрѣнія существованіе вещей виѣ моего сознанія есть нѣчто не только не достовѣрное, но и немыслимое, потому что самое понятіе объ объектѣ виѣ сознанія есть совершенная невозможность: вся черты, которыми объектъ можетъ быть опредѣленъ, необходибо суть состоянія сознанія и самый терминъ „виѣ“

сознанія“ остается звукомъ безъ содержанія ¹⁾). Когда возраженіе противъ возможности безкорыстія оказывается въ такомъ соображеніи, то оно становится не страшнымъ, какъ не страшны никакія теоріи, отрицающія достовѣрность виѣшняго міра. Сколько бы намъ не доказывали, что мы ничего не знаемъ относительно объектовъ виѣ нась, что для того, чтобы знать ихъ, нужно предполагать выступленіе сознанія изъ самого себя,—фактически сознаніе стремится съ неодолимою силой выступить изъ самого себя и создать изъ своихъ собственныхъ состояній виѣшній міръ. Это стремленіе порождаетъ настолько твердую практическую достовѣрность, что, сколько бы философы ни спорили о реальности виѣшняго міра, даже тѣ изъ нихъ, которые ее отрицаютъ, сочли бы дикостью вести себя такъ, какъ будто бы не существовало другихъ людей и всѣхъ окружающихъ насъ предметовъ. Мы видимъ здѣсь наиболѣй образчикъ того, какъ практическая вѣра дѣлаетъ предметъ немыслимый реальнымъ. Не происходитъ ли того же самаго и съ идею безкорыстія? Во всякомъ случаѣ здѣсь есть близкая аналогія. Сколько бы теоретической анализъ ни убѣждалъ насъ, что безкорыстіе—бесмыслица, что воля не можетъ выступать изъ самой себя, въ дѣйствительности есть случаи, когда воля неодолимо стремится выступить изъ самой себя, объединиться съ тѣмъ, что лежитъ виѣ ея. Таково, напримѣръ, состояніе человѣка въ чувствѣ любви. Можно ли убѣдить истинно любящаго человѣка, что онъ въ сущности любить себя, а не другого? Не является ли истинная любовь сама собою, именно потому, что воля наша здѣсь неодолимо стремится отрѣшиться отъ своей исключительности, забыть о противоположности, отдѣляющей „я“ отъ „ты“? „Тамъ, гдѣ пробуждается любовь, говоритъ арабскій поэтъ, умираетъ я—этотъ мрачный деспотъ“. Такимъ образомъ, и здѣсь невозможное становится реальнымъ. „Любя васъ, говорить Фулье, я отдаю вамъ нѣчто изъ себя самого, я хотѣлъ бы отдать вамъ всего себя, и я хочу тоже вѣсть самихъ. Я чувствую, что есть препятствія, и материальная и интеллектуальная, мѣшающія моей индивидуальности слиться съ другою индивидуальностью, и, однако, я хочу именно этого слиянія. Я не говорю, что я

¹⁾ Ср. Шопенгауэр, Міръ какъ воля и представленіе, кн. 1, § 5.

хотѣлъ бы перестать быть собою, чтобы сдѣлаться другою личностью, или того, чтобы она перестала быть собою и сдѣлалась мною: но я хотѣлъ бы быть и собою, и ею вмѣстѣ, я хотѣлъ бы быть и двумя, и однимъ — словомъ, я хотѣлъ бы и отдаваться всецѣло и оставаться цѣлымъ¹⁾). То, что въ любви имѣть мѣсто по отношенію къ живымъ лицамъ, можетъ имѣть мѣсто и по отношенію къ отвлеченному принципу. Человѣческая воля можетъ до такой степени отожествляться съ нимъ, что сознаніе личнаго интереса сливаются въ одно цѣлое съ представленіемъ какой-либо объективной цѣли, не имѣющей отношенія къ личному благополучію. — При помощи только что разсмотрѣнной аналогіи получаетъ свой смыслъ и понятіе объективной цѣнности. Если мы захотимъ научнымъ образомъ формулировать мысль объ объективности извѣстнаго предмета, то мы не можемъ выразить ее иначе, какъ сказавши, что этотъ предметъ будетъ неизбѣжно воспринять всякимъ, разъ будуть на лицо условія, которыя вообще дѣлаютъ воспріятіе возможнымъ, т. е. налицность и дѣеспособность извѣстнаго органа. Если мы говоримъ относительно объективной реальности предметовъ, которые не могутъ подлежать чувственному воспріятію, то опять таки не можемъ связать съ этимъ положеніемъ иного смысла, кроме того, что *всякий* долженъ признать существованіе этого объекта и возможность его воспріятія, если бы были на лицо субъективныя условія. И такъ понятіе объективности можетъ получить опредѣленный научный смыслъ только при помощи идеи *всеобщности* и *необходимости*²⁾). Но именно эти признаки, какъ мы знаемъ, присущіи нравственной оцѣнкѣ. Приссыпвая нравственной оцѣнкѣ соотвѣтствіе съ объективною цѣнностью, мы утверждаемъ, что *всякий* и *необходимо* долженъ признать эту цѣнность, разъ онъ имѣеть способность нравственного различенія. Слѣдовательно по отношенію къ цѣнности понятіе объективности сохраняетъ тотъ самый смыслъ, который оно вообще только и можетъ имѣть.— Такимъ образомъ, мы видимъ, что понятія объек-

¹⁾ A. Fouillée, *De la liberté et le déterminisme*. Paris. 1884. P. 283.

²⁾ Cp. Kant, *Prolegomena zu einer jeden künftigen Metaphysik*. Изд. Kirschmann'a. 1876. S. 51.

· Милль, Обзоръ философіи Гамильтона. СПБ. 1869. Стр. 187.

тивнаго или безкорыстнаго интереса, объективной цѣнности имѣютъ не меньшее право на существованіе, чѣмъ понятіе объективнаго міра,—и этого для этики совершенно достаточно.

Доселъ мы разсуждали болѣе или менѣе отвлеченно: мы старались показать, какіе признаки—отрицательные и положительные—предполагаетъ самое понятіе нравственнаго сужденія, или нравственной оцѣнки, не стремясь пока въ точности опредѣлить, какіе именно реальные факты психологіи лежатъ въ основѣ этого явленія. Теперь мы должны обратить вниманіе на эти факты. Всякое оцѣночное сужденіе или содержитъ въ себѣ прямое и непосредственное указаніе на чувство, или же опредѣляетъ отношеніе данного явленія къ какой-либо нормѣ или образцу. Однако и въ этомъ послѣднемъ случаѣ оцѣнка также въ концѣ концовъ предполагаетъ чувство и въ немъ имѣть свою точку опоры. Нормы и образцы суть результатъ работы ума и представлениія подъ руководствомъ или при участіі заключающагося въ чувствѣ интереса; нормы и образцы должны сами являться намъ цѣнными для того, чтобы отношеніе къ нимъ могло опредѣлять цѣнность. Итакъ, мы должны искать именно въ чувствѣ основнаго психологическаго выраженія нравственной цѣнности. Теперь вопросъ: какова природа этого чувства? Въ какомъ видѣ мы должны представлять себѣ его существованіе? Нѣкоторые моралисты представляли нравственное чувство аналогичнымъ виѣшимъ чувствамъ, при чемъ предполагали для него особый органъ, наподобіе органа зрѣнія. Но, не говоря уже о произвольности такого предположенія, оно совершенно не соотвѣтствуетъ сущности дѣла: посредствомъ органовъ чувство мы воспринимаемъ нечто, даваемое сознанію отвѣтъ. Но цѣнность какого бы то ни было рода не есть что-нибудь воспринимаемое, данное въ какой-либо формѣ, а непосредственно переживаемое; по существу своему она должна являться прежде всего субъективной реакцией, хотя бы и съ притязаніемъ на объективное значеніе, какъ это мы видимъ въ нравственной оцѣнкѣ. Однимъ словомъ это не есть особый видъ ощущенія, продуктъ какогото особеннаго внутренняго зрѣнія (если послѣднее не понимать чисто метафорически), а есть проявленіе чувства въ обычномъ смыслѣ этого понятія. Въ такомъ случаѣ, какъ

относится нравственное чувство къ другимъ определеннымъ видамъ чувствованій, каковы: любовь, ненависть, надежда, печаль и т. д.? должно ли оно быть поставлено въ ряду ихъ, или внѣ ихъ ряда?—Уже самая природа нравственной оцѣнки, которая сама по себѣ формальна, подсказываетъ второе рѣшеніе вопроса: нравственное чувство можетъ соединяться съ каждымъ изъ этихъ чувствъ, но стремится вообще быть выше ихъ; оно цѣнить и судить другія чувства и потому не можетъ стать съ ними въ одинъ рядъ. Если искать для него аналогій, то можно сопоставлять его только съ чувствованіями удовольствія и неудовольствія. Послѣднія сами по себѣ не составляютъ собственно частного вида чувствованій; они, по терминологіи Вундта¹⁾, означаютъ собою одно изъ направленій чувства вообще, и это направленіе можетъ мѣняться даже при одномъ и томъ же содержаніи: извѣстно, напримѣръ, что даже такія чувства, какъ печаль, страхъ, по существу дѣла непріятныя, въ нѣкоторыхъ случаяхъ могутъ быть пріятны. Точно также нравственная оцѣнка въ своемъ элементарномъ первоисточнике есть общее направленіе чувства, различаемое нами наряду съ удовольствіемъ и неудовольствіемъ. Нравственное чувство есть общая, формальная реакція нашего сознанія, отличная однако отъ реакціи евдемонистической. Гедонисты, стремившіеся устранить различіе между той и другой, могли достигать болѣе или менѣе правдоподобныхъ результатовъ только благодаря тому, что они подмѣнивали вопросъ, и вместо того чтобы анализировать психологическую природу нравственной оцѣнки, какъ непосредственно и несомнѣнно данного факта, доказывали, что она *возникла* изъ чувствованій удовольствія и неудовольствія. Но, если даже это и справедливо, ясно, что отвѣтъ дается не на вопросъ. Даже допуская, что нравственная оцѣнка могла какимъ-либо образомъ дифференцироваться изъ евдемонистической, можно оставаться при убѣждѣніи, что по своему данному психологическому содержанію она совершенно своеобразна. Нѣкоторые психологи и психофизіолаги думаютъ, напримѣръ, что всѣ виды ощущеній развились изъ мускульно-осзятельного чувства, но вѣдь только по недоразумѣнію можно утверждать,

¹⁾ Вундтъ, Очеркъ психологіи, изд. М. Псих. Общ. 1897. Стр. 99.

что чувство зрѣнія или слуха есть не что иное, какъ осозаніе¹⁾. Итакъ, какъ бы мы ни представляли себѣ происхожденіе нравственной оцѣнки, самостоятельность нравственнаго чувства есть дѣйствительный фактъ, который не долженъ быть оспариваемъ.

Нравственное чувство проявляется въ двухъ формахъ: во-первыхъ, какъ чувство нравственной цѣнности, непосредственно отражающее внутреннее достоинство поступка и воли, показывающее ихъ высоту или низость, ихъ права на уваженіе или презрѣніе, во вторыхъ какъ чувство долга, имѣющее гораздо болѣе, чѣмъ первое, объективный характеръ, тѣмъ не менѣе тѣсно связанный съ субъективной мотивацией. Оба эти явленія могутъ быть раздѣляемы только при помощи отвлеченного анализа; въ дѣйствительности же это двѣ стороны одного чувства, до такой степени тѣсно объединенные и неизбѣжно другъ друга предполагающія, что мы не можемъ думать ни обѣ одной изъ нихъ, не думая въ то же время о другой: все высшее есть въ то же время и должное и все должное есть въ то же время и высшее; ни одного изъ этихъ чувствъ мы не можемъ сознать во всей полнотѣ его содержанія, не предполагая въ то же время другого. Упуская изъ вниманія это послѣднее обстоятельство, иаслѣдователи морали часто впадаютъ въ своего рода оптическій обманъ, когда начинаютъ утверждать или предполагать относительно одного изъ проявленій морального чувства, что его вполнѣ достаточно для характеристики своеобразной природы нравственныхъ явленій. Въ этомъ случаѣ на долю чувства долга выпала болѣе счастливая участь: чаще именно оно рассматривается какъ единственная въ собственномъ смыслѣ слова отличительная черта морали, хотя бываютъ и обратные случаи, когда нравственное чувство разсматриваются, только какъ чувство привлекательности совсѣмъ особаго рода. Первое ведетъ къ отрицанію специфически-нравственного значенія чувства нравственной цѣнности, второе—къ отрицанію такого же значенія за чувствомъ долга. Въ виду того, что на выраженіе своеобразной

¹⁾ Спенсеръ, Основанія Психологіи, § 139 слл.; Каптеревъ, Педагогическая Психология. СПБ. 1883. Стр. 122 слл.; ср. Джемиса, Психология, перев. Чашникъ, изд. 1-е, стр. 45—46.

природы чувства нравственной цѣнности вообще меньше употреблялось усилий, оно имѣть право на большее внимание съ нашей стороны.

Чувство нравственной цѣнности обычно является въ сознаніи въ тѣсной связи съ чувствомъ удовольствія, и первое вслѣдствіе этого заслоняется послѣднимъ отъ взоровъ изслѣдователя до такой степени, что онъ, даже при своемъ несогласіи съ евдемонизмомъ, готовъ иногда отожествить нравственную цѣнность съ евдемонистической, предполагая, что для нравственной области даже и при этомъ пониманіи дѣла остается достаточно опредѣленный отличительный признакъ въ видѣ чувства долга. Но намъ кажется, что это ошибка. Разъ цѣнность добра сводится къ удовольствію, то само чувство долга утрачиваетъ специфически-нравственную природу и должно быть переведено на евдемонистический языкъ, на которомъ оно будетъ обозначать: „если я не исполню данной обязанности, то я буду страдать“. Нравственный долгъ предполагаетъ достоинство совсѣмъ особенного рода. Это достоинство мы можемъ отличать отъ удовольствія даже тогда, когда оно отъ послѣдняго неотдѣлимо по самому существу дѣла, именно, когда оно оказывается какъ *достоинство самого удовольствія*. Такого рода факты и должны служить точкой отправленія для выдѣленія чувства объективной цѣнности въ самостоятельное явленіе.

Если мы пожелаемъ найти такую область фактовъ, въ которой бы чувство удовольствія и чувство внутренняго достоинства совмѣщались по возможности въ одинаковой степени, то область прекраснаго окажется наиболѣе подходящею. Что пріятное занимаетъ самое существенное мѣсто въ эстетической оцѣнкѣ,—съ этимъ нельзя спорить. Но въ то же время всякий сознаетъ, что въ нашемъ одобрениі, высказываемомъ прекрасному, скрывается нечто большее, чѣмъ одно только констатированіе пріятности: мы не только сознаемъ, что красота доставляетъ удовольствіе, но вмѣстѣ съ тѣмъ чувствуемъ, что это удовольствіе *высшаго* порядка, чѣмъ то, какое, напримѣръ, мы получаемъ отъ хорошо приготовленнаго обѣда. „Мы невольно, говорить Лекки, связываемъ съ однимъ удовольствиемъ слабую идею о недостаткѣ, между тѣмъ какъ другимъ столь же невольно гордимся. Пристрастіе къ удовольствіямъ вкуса разсматривается

до извѣстной степени какъ унизительное. Человѣкъ едва ли будетъ хвалиться тѣмъ, что онъ очень любить поѣсть, но онъ не замедлитъ объявить, что очень любить музыку. Первый вкусъ унаижаетъ его, а второй возвышаетъ какъ въ собственныхъ глазахъ, такъ и въ глазахъ ближнихъ¹⁾). Такимъ образомъ, мы видимъ, что даже тамъ, гдѣ евдемонистический элементъ чувства ясно выраженъ, онъ не поглощаетъ собою другого элемента чувства, который судить самыя удовольствія по ихъ сравнительному достоинству. Это же самое имѣть мѣсто и въ другихъ случаяхъ, когда рѣчь идетъ о высшихъ удовольствіяхъ, — съ тѣмъ только различиемъ, что тамъ евдемонистический моментъ оцѣнки не занимаетъ такого виднаго мѣста. Что въ сужденіяхъ объ умственныхъ удовольствіяхъ мы принимаемъ въ разсчетъ вмѣстѣ съ ихъ пріятностью отличное отъ послѣдней чувство внутренняго превосходства, — съ этимъ согласится всякий, кто обратить вниманіе на то, что интенсивность этихъ наслажденій, какъ именно наслажденій, очень низька, между тѣмъ какъ наше непосредственное чувство отводить имъ весьма высокое мѣсто среди вещей, могущихъ представлять цѣнность. Руководствуясь одною только точкою зреянія удовольствія, мы должны бы были поставить благополучную, здоровую и обеспеченную жизнь какого-нибудь древне-греческаго кожевника или современаго буржуа выше жизни Сократа, Архимеда, Спинозы и Канта; однако въ дѣйствительности мы видимъ, что какъ жизнь послѣднихъ далеко не можетъ служить идеаломъ счастья, такъ жизнь первыхъ не представляетъ идеала достоинства или совершенства.

Неоднократно было доказываемо, что чувства эстетическая, интеллектуальная и моральная тождественны въ своемъ послѣднемъ основаніи, и различаются лишь постольку, по скольку лежащій въ ихъ основѣ общій принципъ долженъ принимать различныя формы по различию объектовъ, понимаемыхъ подъ именемъ добра, истины и красоты. То чувство внутренняго превосходства, которымъ сопровождаются эстетическая и интеллектуальная удовольствія, обще для всѣхъ трехъ областей и очевидно стоить въ связи съ ихъ общимъ источникомъ. Но если это такъ, то почему чувство-

¹⁾ *Lecky, Sittengeschichte.* B. I, S. 77. (Курсивъ нашъ).

внутренняго превосходства, присущаго извѣстнымъ духовнымъ состояніямъ, есть именно нравственное чувство, а не интеллектуальное или не естетическое? Несомнѣнно, что оно имѣть нѣкоторое право называться и эстетическимъ и интеллектуальнымъ, но есть особенные основанія называть это чувство именно нравственнымъ; они заключаются въ томъ, что рассматриваемое чувство даже въ сферѣ чисто интеллектуальной и эстетической неизмѣнно сопровождается практической обязательностью, что оно даже и здесь характеризуетъ собою *направление воли*, вопреки мнѣнію Милля, что качество удовольствій не связано съ чувствомъ нравственной обязанности. Мы не будемъ говорить о томъ, что исканіе истины или художественное творчество является нравственнюю обязанностью для лицъ обладающихъ талантами и призваніемъ въ данныхъ областяхъ: это слишкомъ ясно, чтобы обѣ этомъ стоило распространяться. Но вѣдь умственная и эстетическая жизнь, умственные и эстетические интересы не служатъ исключительнымъ удѣломъ ученыхъ и художниковъ: значеніе творчества тѣхъ и другихъ основывается именно на томъ, что его результаты дѣлаются общественнымъ достояніемъ. Всѣ люди въ той или иной мѣрѣ познаютъ истину и созерцаютъ красоту. Поэтому, если не на всѣхъ лежитъ обязанность творить въ сферѣ науки и искусства, то на всѣхъ можетъ лежать обязанность пользоваться плодами этого творчества, или вообще такъ или иначе удовлетворять своимъ умственнымъ и эстетическимъ запросамъ, культивировать свои интересы и способности въ той и другой области. Въ качествѣ отвлеченной истины это признается, конечно, почти всѣми, если не всѣми безъ исключенія. Но не мѣшаетъ напомнить, что это не есть только отвлеченный выводъ изъ какихъ-либо общихъ научныхъ положеній, а и живая, нравственная истина, которая вся кому можетъ представиться въ формѣ непосредственнаго чувства нравственной обязательности. Развѣ на самомъ дѣлѣ можетъ человѣкъ, хотя немножко понимающій и умѣющій цѣнить музыку, безъ чувства чисто нравственного раскаянія уйти съ хорошо исполняемой оперы для того, чтобы засѣсть за карточную игру? Развѣ мы не подвергнемъ себя укорамъ совѣсти, если деньги, предназначенные нами на покупку весьма цѣнной нами книги, мы пстратимъ на удо-

вътвореніе, хотя бы и невинныхъ, прихотей своего вкуса?— Какъ бы мы ни понимали задачи нравственности и какъ бы ни представляли себѣ идеаль нравственного совершенства, мы не можемъ не признать, что въ эти задачи и въ этотъ идеаль неизбѣжно входитъ духовное развитіе, полнота духовной жизни и ея преобладаніе надъ чувственными вождѣніями. Осуществленіе нравственныхъ требованій прямо и косвенно обусловлено совершенствомъ и силою духовной жизни, и съ этой точки зрѣнія можно признать неоспоримой нравственной истиной, что духъ выше плоти. Но дѣятельности эстетическая и интеллектуальная характеризуютъ собою именно жизнь духа въ ея отличіи отъ жизни животной и чувственной. Поэтому онъ до извѣстной степени самъ по себѣ и непосредственно входятъ въ область морали.— Но даже и въ той мѣрѣ, въ какой истина и красота суть самостоятельный явленія, отличныя отъ морали, онъ никогда не могутъ быть безразличны для нея. Истина и красота до извѣстной степени всегда остаются синонимами морали, непосредственно опредѣляютъ собою самое ея бытіе и служатъ наилучшими орудіями для ея осуществленія. Ближайшая связь разума, истины и красоты съ добромъ нигдѣ не выступаетъ съ такою наглядностью, какъ въ воззрѣніяхъ древнихъ грековъ. Добродѣтель всегда представляется имъ удѣломъ мудреца или философа, устраивающаго свою жизнь сообразно съ высшимъ знаніемъ, вслѣдствіе чего добродѣтель и отожествляется часто съ знаніемъ. „Одному только разуму, говорять они, какъ мудрому попечителю должно вѣрять всю жизнь“ ¹⁾). Но жизнь, сообразная съ разумомъ, будетъ непремѣнно жизнью прекрасной, подобно тому, какъ прекрасенъ міръ, управляемый Разумомъ. „Въ жизни, говорить Пиѳагоръ, какъ въ статуѣ, всѣ части должны быть строго соразмѣрны“ ²⁾). Такова именно жизнь мудреца: „когда мудрецъ откроетъ уста свои, то изъ нихъ виднѣется красота души его, какъ изъ храма, когда отворять его двери, виднѣются красивыя статуи“ ³⁾). По Платону, нравственное

¹⁾ И. К. Изреченія древнѣйшихъ греческихъ мыслителей. Харьковъ. 1837. Стр. 102; ср. 156.

²⁾ Ibid, 101.

³⁾ Ibid, 102.

благо есть красота, стоящая выше всякаго выраженія, красота вѣчная, несозданная и неизчезающая. Только созерцаніе самой красоты, по его мнѣнію даетъ цѣну человѣческой жизни, и человѣкъ, которому дано было бы созерцать эту „чистую, простую и безпримѣсную“ божественную *красоту*, долженъ быть „пораждатъ не образы добродѣтели, ибо онъ привязанъ не къ образамъ, а истинную добродѣтель, ибо онъ привязанъ къ самой истины“¹⁾. Мы видимъ, такимъ образомъ, что у Платона красота, добродѣтель и истина образуютъ нѣчто нераздѣльное, такъ что самыя понятія становятся трудно разграничивыми. Это ученіе имѣло свой отголосокъ и въ ученіи древнихъ христіанскихъ мыслителей, видѣвшихъ въ Богѣ не только высшее Добро, но и высшую Истину и высшую Красоту. Оно не умерло и до сего времени: у современныхъ философовъ спиритуалистовъ *истина, добро и красота* продолжаютъ составлять неразрывную триаду. Конечно, ученіе о *тожествѣ* добра съ истиною и красотой — есть преувеличеніе греческой этики, но въ этомъ воззрѣніи кроется та доля истины, что добро не можетъ быть непричастнымъ разуму и красотѣ. Первый является, какъ мы увидимъ потомъ, источникомъ добра, вторая служить его наиболѣе достойною и, въ извѣстномъ смыслѣ, постоянно ему присущею формою: „въ концѣ концовъ, говорить Гюйо, если можно отрицать, что прекрасное всегда бываетъ добрымъ, то нельзя отрицать того, что доброе всегда прекрасно“²⁾. Съ другой стороны также, если разумъ и красота не всегда бываютъ нравственны, то именно потому мы имъ въ такихъ случаяхъ отказываемъ въ томъ внутреннемъ превосходствѣ, сознаніе котораго составляетъ отличительную черту моральной оцѣнки. Мы думаемъ, что разумъ и красота, враждебные добру, уклоняются отъ своего истиннаго назначенія. Мы не можемъ найти для разума высшей задачи, чѣмъ та, чтобы руководить человѣка по пути добра, освѣщать этотъ путь въ союзѣ съ его совѣстью и непосредственнымъ инстинктомъ. Мы склонны осуждать не только разумъ, вредный для морали, но даже просто лишь бесполезный для нея,

¹⁾ *Plato. Convivium.* 201, 211—212 и др. (Курсивъ нашъ).

²⁾ *Guyau, La morale anglaise contemporaine.* Paris. 1885. Р. 145.

и многіе до сихъ поръ часто повторяютъ мысль, высказанную Пієагоромъ: „пуста рѣчъ философа, которою не исцѣляется никакая страсть человѣка. Ибо, какъ нѣть пользы въ томъ врачебномъ искусствѣ, которое не изгоняетъ болѣзней изъ тѣла, такъ нѣть пользы и въ философіи, если она не изгоняетъ зла изъ души“ ¹⁾). Точно также высшее назначеніе эстетики мы находимъ въ нравственномъ совершенствованіи человѣка, и истинная красота формы производить на нашъ духъ всегда тѣмъ болѣе чарующее впечатлѣніе, чѣмъ болѣе высокое нравственное содержаніе скрывается за прекрасной оболочкой. Такъ именно всегда смотрѣли на красоту наиболѣе достойные ея служители. „Высшая цѣль искусства, говоритъ Рѣскінъ, состоить въ томъ, чтобы дать намъ яркий образъ благороднаго человѣческаго существа; большаго оно никогда не достигало, а меньшимъ оно не должно удовлетворяться..... Прекрасныя искусства немыслимо направить къ безнравственнымъ цѣлямъ, если къ нимъ не примѣшивать свойствъ, не соответствующихъ ихъ благородству, или если не предназначать ихъ для людей, неспособныхъ понять ихъ; того же, кто ихъ понимаетъ, они возвышаютъ“ ²⁾.

Мы видѣли, такимъ образомъ, что истина и красота являются въ нашихъ глазахъ цѣнными вовсе не исключительно въ той мѣрѣ, въ какой онѣ пріятны; мы видѣли, что превосходство ихъ передъ чувственными наслажденіями измѣряется совсѣмъ другою мѣрою, данною въ непосредственномъ сознаніи ихъ нравственной цѣнности, отличающемъ высшее отъ низшаго, достойное отъ недостойнаго. Если мы теперь обратимъ вниманіе на факты, которымъдается название нравственныхъ въ болѣе тѣсномъ смыслѣ слова, то увидимъ, что ихъ трудно въ надлежащей мѣрѣ осмыслить, не признавая самостоятельнаго характера за чувствомъ нравственной цѣнности. Что нравственно доброе имѣть *ни съ чѣмъ не сравнимую цену*,—это всегда признавалось и, за немногими исключеніями, признается теперь; такая оцѣнка вовсе не подсказывается какимъ-либо логическимъ процессомъ размышленія; она основывается на не-

¹⁾ И. К. Изреченія др. греч. мыслителей, 106.

²⁾ Дж. Рѣскінъ, Лекціи объ искусствѣ. М. 1900. Стр. 27—28: ср. 48, 55, 62 и др.

посредственномъ чувствѣ. Но природа этого чувства была бы для насъ чѣмъ-то совершенно непонятнымъ, а основы-вающееся на немъ признаніе несравненной цѣнности добра совершенной безсмыслицей, если бы мы не согласились при-знать, что здѣсь идетъ рѣчь объ особенной реакціи чув-ства, несводимой на удовольствіе и страданіе. Мы уже го-ворили, что пока рѣчь идетъ объ удовольствіи, то цѣнность вещи должна измѣряться только *степенью* удовольствія, или *силой* потребности, что, въ концѣ концовъ, одно и то же. Но нравственная оцѣнка не обращаетъ вниманія на *силу* мотивовъ, а только на ихъ *качество*, и потому очень часто случается, что мотивы *слабые* мы признаемъ однако *высшими* или *лучшими*: это совершенно новая точка зрѣнія, которая не позволяетъ себя свести къ чувству удовольствія. Какъ бы мы ни старались утончить процессъ евдемонистичекой мотивации, мы никогда изъ него непосредственно не получимъ чувства нравственной высоты поступка. Доказа-тельствомъ того, насколько вообще тщетны усилия такого рода, можетъ служить точка зрѣнія, предлагаемая проф. И. В. Поповымъ въ его книгѣ: „Естественный нравственный за-конъ“. Авторъ прекрасно ставитъ вопросъ, когда говоритъ: „Разнообразны склонности человѣческой природы входятъ въ содержаніе нравственности и, составляя это содержаніе, могутъ служить однимъ изъ второстепенныхъ ея мотивовъ. Но спрашивается: что даетъ этимъ склонностямъ автори-тетность и превосходство предъ другими, противными нрав-ственности склонностями“¹⁾? „Если любовь удовлетворяетъ потребностямъ одной стороны нашего существа, то эгоизмъ въ той же мѣрѣ удовлетворяетъ противоположнымъ наклон-ностямъ. То и другое доставляетъ приблизительно равное удовлетвореніе. Почему же, спрашивается, цѣнность любви превосходитъ цѣнность эгоизма? При отрицаніи всякихъ другихъ источниковъ нравственной цѣнности, кроме на-слажденія, связанного съ благожелательными склонностями, этотъ вопросъ остается неразрѣшимымъ“²⁾. Мы однако ду-маемъ, что этотъ вопросъ остается неразрѣшимымъ и съ точки зрѣнія самого автора: его теорія, вообще весьма цѣн-

¹⁾ Естественный нравственный законъ, стр. 259.

²⁾ Ibid., 494—495.

ная для уясненія вопросовъ о психологической сущности и о происхожденіи нравственныхъ чувствованій, страдаетъ однако тѣмъ недостаткомъ, что упускаетъ изъ вниманія совершенно особенный и своеобразный характеръ нравственнаго предпочтенія. Посмотримъ, на самомъ дѣлѣ, какъ авторъ разрѣшаетъ столь прекрасно поставленный имъ вопросъ. „Если чувство нравственной цѣнности, пишетъ онъ, состоить не въ одной только любви, если съ этою склонностью, которая пріятна сама по себѣ, соединяется еще интеллектуальное чувство гармоніи, то эти два чувства, суммируясь, взаимно *возвышаютъ степень удовольствія*, съ которыми они связаны.... Наоборотъ, эгоистическая наслажденія не только не возвышаются сливающимися съ ними высшими чувствами, а напротивъ, получаютъ съ ихъ стороны явный ущербъ. Какъ съ любовью естественно сливается пріятное чувство гармоніи, такъ съ представлениемъ объ эгоистическихъ наслажденіяхъ, равно какъ и съ ихъ наличностью, сливается тяжелое чувство дисгармоніи, отсутствія единенія и согласія“¹⁾). Оказывается, такимъ образомъ, что чувство нравственной цѣнности не только не отличается отъ удовольствія, а напротивъ само есть не что иное, какъ *повышенная степень удовольствія*. Легко понять, что такое объясненіе совсѣмъ не затрагиваетъ своеобразной природы нравственной оцѣнки. Если мы цѣнность не отличаемъ отъ удовольствія, то мы никакъ не можемъ доказать того, что нравственная дѣятельность имѣть большую цѣну, чѣмъ противоположная ей. Правда удовольствіе, доставляемое чувствомъ и дѣлами любви, удвоется, соединяясь съ чувствомъ гармоніи,—преимущество, котораго не имѣютъ чувства эгоистическая; но вѣдь не нужно также забывать и тѣхъ страданій, которыхъ неизбѣжно сопровождаютъ нравственную дѣятельность вслѣдствіе неудовлетворенности не только дурныхъ, а иногда даже и законныхъ потребностей, и, еще болѣе, вслѣдствіе тѣхъ безчисленныхъ непріятностей и несчастій, которыхъ преслѣдуютъ строгую добродѣтель въ нашемъ мірѣ. Но если мы даже допустимъ, что въ некоторыхъ частныхъ случаяхъ перевѣсь остается на сторонѣ удовольствія, доставляемаго нравственную дѣятельность, то

¹⁾ Ibid. (*Курсивъ нашъ*).

этимъ вовсе не решается вопросъ о предпочтеніи добродѣтели пороку: разъ вся цѣнность только въ удовольствіи, то преимущество добродѣтели всегда будетъ не болѣе, какъ случайностью. Каждой данной суммѣ удовольствій всегда можно противопоставить большую. Поэтому стоитъ только надбavitъ цѣну за отступленіе отъ добра, стоитъ къ даннымъ пріятнымъ перспективамъ, открываемымъ порокомъ, прибавить другія,—и цѣнность добродѣтели должна стушеваться. Въ дѣйствительности же, конечно, бываетъ — и очень нерѣдко,—что человѣкъ поддается соблазнамъ порока, но его никогда не покидаетъ сознаніе высшей цѣнности добра. Эта цѣнность есть нечто, несравненное съ удовольствіемъ, величина совсѣмъ другого порядка, и только поэтому въ нашемъ сознаніи она не можетъ быть перевѣшена никакимъ количествомъ удовольствія, а равно какъ не можетъ быть поколеблена никакою суммою соединенного съ нею страданія. Для иллюстраціи этой ни съ чѣмъ несоизмѣримой цѣнности добра, припомнимъ одинъ примѣръ изъ Республики Платона. Представимъ себѣ, разсуждаeтъ здѣсь Главконъ, двухъ людей составляющихъ совершенную противоположность другъ другу: одинъ изъ нихъ пусть будетъ образцомъ несправедливости, другой—идеаломъ справедливости ¹⁾. Верхъ несправедливости состоитъ въ томъ, чтобы казаться справедливымъ, не будучи такимъ въ дѣйствительности. Итакъ предположимъ, что нашъ несправедливый совершенство въ своемъ родѣ: онъ настолько ловокъ, что его никто даже не можетъ уличить въ его несправедливыхъ поступкахъ. Если ему случается сдѣлать ложный шагъ, онъ его тотчасъ же исправляетъ; онъ такъ краснорѣчивъ, что убѣждаетъ въ своей невинности даже тѣхъ, для которыхъ его преступленія должны бы быть очевидны. Совершая величайшія злодѣянія, онъ, такимъ образомъ, умѣеть создать себѣ репутацію самаго честнаго человѣка. Благодаря этой репутаціи, несправедливый достигаетъ почета, власти, связей, богатства, вслѣдствіе чего мо-

¹⁾ Нужно принять во вниманіе, что понятіе справедливости имѣть у Платона болѣе широкій смыслъ, чѣмъ какой мы привыкли соединять съ этимъ словомъ. Справедливость у Платона—это скорѣе всего нравственность вообще съ положительной своей стороны: справедливо все то, что человѣкъ сознаетъ, какъ должно. Поэтому справедливость, по учению Платона, обнимаетъ собою всѣ другія добродѣтели.

жеть уже еще болѣе безнаказанно совершать несправедливости и жить въ свое полное удовольствіе. Рядомъ съ нимъ мы поставимъ справедливаго человѣка, отличающагося отъ кровенностию и простодушiemъ, который болѣе желаетъ быть добродѣтельнымъ, чѣмъ казаться имъ. Для того, чтобы онъ представлялъ полную противоположность первому, мы отнимемъ у него репутацію честнаго человѣка, и пусть его, не совершившаго ни малѣйшей несправедливости, считаются величайшимъ злодѣемъ; пусть его добродѣтель подвергнется самимъ тяжелымъ испытаніямъ, и пусть, не смотря на это, онъ не измѣняетъ ей до самой смерти. Его будуть бить, пытать, закуютъ въ желѣзо, выжгутъ ему глаза и, наконецъ, подвергнувъ всѣмъ возможнымъ мученіямъ, распнутъ его на крестѣ и тѣмъ докажутъ ему всю неумѣстность его непреклонной добродѣтели¹⁾). Если сравнивать жизнь этихъ двухъ людей съ точки зрѣнія удовольствія, хотя бы даже и принимая въ разсчетъ удовольствіе, доставляемое непосредственно добродѣтелью, то неужели бы мы предпочли жизнь этого несчастнаго праведника неомраченной никакимъ несчастьемъ жизни его антиподы? На этотъ вопросъ едва ли можетъ быть два отвѣта, и совершенно правъ Главконъ, приводившій данный примѣръ въ доказательство того, что съ точки зрѣнія счастья жизнь несправедливаго несравненно привлекательнѣе. Но въ то же время всякий долженъ признать величайшее нравственное преимущество увѣнчаннаго страданіями и распятаго на крестѣ праведника, хотя бы и не находилъ въ себѣ силъ, чтобы оставаться настолько же вѣрнымъ добру, какъ онъ. Изъ этого достаточно ясно, что нравственное достоинство или нравственная цѣнность есть нечто совсѣмъ иное, чѣмъ удовольствіе какого бы то ни было рода. Поэтому чѣмъ бы мы ни увеличивали удовольствіе, получаемое отъ чувствованій симпатіи и любви, мы въ резульватѣ никогда не получимъ нравственной цѣнности. Самъ г. Поповъ, подвергающій основательной критикѣ евдемонистическое направленіе морали, понимаетъ это, конечно, лучше, чѣмъ кто-либо, и въ другомъ мѣстѣ совершенно правильно замѣчаетъ, что благожелательныя склонности получаютъ нравственную цѣнность

¹⁾ *Plato, Civitas, lib. II, 361—362.*

лишь вслѣдствіе соединенія съ *высшими* чувствами, которыя, такъ сказать, „берутъ ихъ подъ свое покровительство“¹⁾). Но въ его собственномъ психологическомъ анализѣ это понятіе *высшей*, не получаетъ никакого мѣста. А между тѣмъ именно на немъ и должно быть сосредоточено вниманіе того, кто хочетъ изслѣдовать психологическую природу нравственной цѣнности. При этомъ нужно признать что-нибудь изъ двухъ: или это понятіе означаетъ только нѣкоторый видъ пріятности,—и тогда мы уже лишаемся права противополагать цѣнность нравственную евдемонистической; или же мы признаемъ, что оно указываетъ на совершенно особенный способъ оцѣнки,—и тогда мы должны допустить, что оно имѣеть въ своей основѣ особенную реакцію чувства, специфически-отличную отъ той, которою послѣднее отвѣчаетъ на удовлетвореніе или неудовлетвореніе естественныхъ склонностей.

Можетъ быть подумаютъ, что предпочтеніе, оказываемое добродѣтели, для насъ становится понятнымъ, если мы примѣмъ во вниманіе, что удовольствіе, доставляемое ею — не чувственное, а интеллектуальное. Однако въ дѣйствительности такое объясненіе недостаточно, если мы при этомъ не предполагаемъ другого способа оцѣнки на ряду съ удовольствіемъ, если мы не подразумѣваемъ вмѣстѣ съ этимъ, что чувственное удовольствіе *ниже* интеллектуального. Кантъ справедливо указывалъ уже на то, что пока рѣчь идетъ только объ удовольствіи, мы не имѣемъ права ссылаться на превосходство однихъ удовольствій передъ другими, откуда бы они ни происходили — изъ виѣшнихъ ли ощущеній или изъ духовныхъ дѣятельностей. „Тотъ же, самый человѣкъ, говорить онъ, можетъ возвратить непрочитанную очень поучительную для него книгу, которая только что попалась ему въ руки, чтобы не пропустить охоты, можетъ уйти среди прекрасной рѣчи, чтобы не опоздать къ обѣду, можетъ отказаться отъ удовольствія разумной бесѣды, которую онъ въ другихъ случаяхъ высоко цѣнить, чтобы сѣсть за карточный столъ, можетъ даже отказать въ милостынѣ нищему, благотворить которому для него составляетъ наслажденіе, — такъ какъ у него въ настоящую ми-

¹⁾ *И. Поповъ*, оп. с., 258.

нуту въ карманѣ какъ разъ столько денегъ, сколько нужно, чтобы заплатить за входъ на комедію. Разъ опредѣленіе воли основывается на чувствѣ удовольствія и неудовольствія, ожидаемыхъ отъ какой-либо причины, то для него совершенно все равно, какой родъ представлений на него воздѣйствуетъ.... Какъ для того, кто долженъ тратить деньги, совершенно безразлично, вырыта ли матерія ихъ — золото—изъ горъ или вымыта изъ песка, если она только всюду принимается за одну и ту же цѣну, такъ ни одинъ человѣкъ, заинтересованный только пріятностью жизни, не станетъ спрашивать о томъ, изъ разсудка или изъ чувствъ возникаютъ доставляющія удовольствіе представлія, а только о томъ, въ какой мѣрѣ и насколько большое удовольствіе они могутъ ему дать на возможно долгое время¹⁾). Приведенные сужденія Канта подлежать некоторымъ ограниченіямъ лишь въ той мѣрѣ, что удовольствія сравнивать далеко не такъ просто, какъ различной стоимости монеты въ одной и той же денежной системѣ, — вслѣдствіе того, что реальное содержаніе удовольствій можетъ быть очень разнородно. Но въ принципѣ, поскольку удовольствіе является мѣриломъ при сравненіи цѣнностей, только что приведенные разсужденія остаются неоспоримыми. Поскольку мы стоимъ на евдемонистической точкѣ зрѣнія, удовольствія, откуда бы они ни происходили, остаются равноправными, такъ что выборъ долженъ опредѣляться только ихъ количествомъ. Если въ дѣйствительности мы не можемъ удержаться на этой точкѣ зрѣнія, то исключительно потому, что въ случаяхъ, подобныхъ приведеннымъ у Канта, мы къ евдемонистической точкѣ зрѣнія неизбѣжно примѣшиваемъ нравственную. Какъ бы мы ни затруднялись оцѣнить извѣстный покупаемый нами предметъ, и какъ бы ни быть великъ рискъ ошибки, — это не колеблетъ общаго принципа, что предметъ долженъ быть оплаченъ деньгами, и мы это дѣлаемъ. Такъ точно, пока идетъ рѣчь объ удовольствіи, мы всегда можемъ считать выборъ между ними дѣломъ естественнымъ и, можетъ быть, даже необходимымъ, какъ бы ни быть затруднителенъ такой выборъ на практикѣ.

¹⁾ Kant, Kritik der praktischen Vernunft. Изд. Kirchmann'a Heidelberg. 1882. SS. 24—25.

Напротивъ, измѣрять нравственное побужденіе степенью удовольствія,—это то же, что дѣлить аршины на фунты или измѣрять человѣческій умъ при помощи динамометра.

Итакъ, мы видимъ, что чувство нравственной цѣнности въ своей положительной формѣ есть явленіе совершенно своеобразное. То же самое, конечно, нужно сказать и объ отрицательной сторонѣ этого чувства. Правда, что нарушение нравственныхъ требованій вызываетъ весьма мучительное страданіе, которое уже само по себѣ представляеть очень сильный мотивъ. Какъ бы однако ни была велика сила этого мотива, какъ именно страданія, этого еще недостаточно для выдѣленія его изъ числа другихъ побужденій. Но его преимущество состоить въ томъ, что здѣсь къ страданію присоединяется отрицательная нравственная квалификація личности, чувство *униженія*, котораго нельзя искупить никакою суммою удовольствія, и представление котораго можетъ одержать верхъ надъ какою угодно суммою мученія. „Кто потерялъ въ игрѣ, говоритъ Кантъ, тотъ, конечно, можетъ сердиться на себя и на свое неблагоразуміе; но если онъ сознается, что *обманулъ* въ игрѣ (хотя чрезъ это и выигралъ), то онъ долженъ *презирать* себя, коль скоро онъ сравниваетъ себя съ нравственнымъ закономъ. Этотъ послѣдній долженъ быть, слѣдовательно, чѣмъ—то инымъ, а не принципомъ собственного счастья; ибо для того, чтобы быть вынужденнымъ сказать себѣ: я человѣкъ *негодный*, хотя я и наполнилъ свой кошелъ, нужно имѣть другую мѣру сужденія, чѣмъ для того, чтобы похвалить себя и сказать: я-человѣкъ *умный*, ибо я обогатилъ свою кассу“¹).

Чувство нравственной цѣнности съ своей положительной стороны есть нечто возвышающее нашу душу, наполняющее ее благоговѣйнымъ восторгомъ и какъ бы освобождающее отъ житейскихъ узъ, но оно въ то же время само налагаетъ оковы другого рода, оно несетъ въ себѣ нѣкотораго рода *игру*²): возвышая нашъ духъ оно одновременно съ этимъ требуетъ отъ него покорности, свободного подчиненія и самоограниченія³). Подобно тому, какъ въ донравственной

¹⁾ Kant, Kr. d. pr. V., S. 44.

²⁾ Ср. Kant, ibid., 102.

³⁾ Ibid, 97.

сферѣ чувство удовольствія, возбуждаемаго даннымъ предметомъ, само по себѣ сознается, какъ достаточное основаніе для дѣйствія, такъ въ сферѣ нравственной чувство нравственной цѣнности или высоты извѣстнаго направленія воли выражаетъ собою достаточное основаніе для *необходимости дѣйствія*, непосредственно сознаваемой въ чувствѣ долга. Оба эти чувства, т. е. чувство нравственной цѣнности и чувство долга, какъ я уже говорилъ, суть только двѣ стороны одного и того же чувства и въ нашемъ сознаніи непосредственно переходятъ одно въ другое, одно на другое указываютъ: мы не можемъ чувствовать себя обязанными къ дѣйствію, за которымъ мы не признаемъ нравственной цѣны, и не можемъ, съ другой стороны, признавать нравственной высоты дѣйствія, не придавая ему въ томъ или другомъ видѣ долженствованія. — Чувство долга сопровождаетъ неизмѣнно всѣ акты нравственного сужденія. Когда мы мыслимъ о нравственномъ законѣ или о нравственномъ образѣ жизни вообще, мы сознаемъ, что должны ему слѣдовать какъ высшему роду поведенія. Когда возникаетъ случай дѣйствительного примѣненія закона, мы чувствуемъ, что мы должны поступить такъ, какъ онъ требуетъ; по совершеніи поступка, смотря по его свойству, мы сознаемъ, что мы поступили какъ должно или, наоборотъ, какъ недолжно. Та же самая мысль о долгѣ не покидаетъ насъ и тогда, когда мы высказываемъ свои сужденія о поведеніи другихъ людей. Правда въ наиболѣе напряженной формѣ чувство долга оказывается предъ совершеніемъ поступка, предписываемаго моралью; но общая природа чувства въ данномъ случаѣ проявляется только въ наиболѣе рельефномъ видѣ, благодаря тому, что оно здѣсь должно преодолѣть борьбу съ противонравственными влечениями. — Что чувство долга есть одинъ изъ первичныхъ фактъ нравственного самосознанія, — этого нельзя отрицать, не становясь въ противорѣчіе съ данными внутренняго опыта. Когда въ основу нравственности полагается безвольное, чисто созерцательное сужденіе, какъ это мы видимъ, напримѣръ, у Гербарта¹⁾), — то этимъ изъ нравственного сужде-

¹⁾ *Herbart, S鋗mtliche Werke, hrsg v. Harterstein Leipzig 1851. B. VIII. S. II, 8—9 и др.*

ня устраниется необходимо ему присущий практический характеръ, и само понятіе нравственной цѣнности лишается существенного признака, потому что мысль о необходимости предпочтенія предполагается самой природой этого понятія.

Характеризуя раньше ту точку зреенія, на которой стоитъ нравственное сужденіе, мы указывали на то, что выражаемая имъ оцѣнка, хотя и предполагаетъ отношеніе къ субъекту въ его волѣ, однако имѣетъ притязаніе на объективное значеніе. Психологическую основу такого характера нравственного сужденія нужно искать въ тѣсной связи нравственного чувства не только съ волей, но и съ интеллектомъ, потому что какой-бы то ни было объектъ можетъ быть намъ данъ только въ познаніи. Объектомъ нравственного чувства является извѣстная идеальная форма опредѣленія воли, которая, поскольку она осуществляется или не осуществляется въ отдѣльныхъ актахъ, можетъ вызывать движенія чувства и непосредственно (подобно тому, какъ бываетъ непосредственно эстетическое впечатлѣніе), но обычно уже заранѣе нами мыслится въ видѣ извѣстнаго объективнаго закона, правила или нормы. При этомъ нравственное чувство все свое значеніе полагаетъ именно въ своемъ объектѣ, съ которымъ оно поэтому связано болѣе тѣсно, чѣмъ можетъ быть связана евдемонистическая оцѣнка съ своимъ объектомъ. Когда воля опредѣляется евдемонистически, то, хотя въ этомъ случаѣ также необходимо дѣйствовать и представление предметовъ, доставляющихъ удовольствіе, однако это представление не является нашему сознанію въ необходимой логической связи съ поведеніемъ; эта связь относится только къ удовольствію, а не къ предмету, его доставляющему. Напримѣръ, представление Ѣды само по себѣ не могло бы являться нашему сознанію достаточнымъ основаніемъ для того, чтобы садиться за обѣдъ, если бы съ этимъ представлениемъ не соединялось мысли объ удовольствіи (хотя бы въ дѣйствительности эта мысль всегда оставалась на заднемъ планѣ). Не такъ дѣло обстоитъ съ нравственнымъ мотивомъ. Здѣсь чувствоуваженія объединяется въ одно цѣлое съ представлениемъ нравственного закона или правила, притомъ такимъ образомъ, что это представление кажется нашему сознанію само по себѣ до-

статочнымъ основаніемъ для дѣйствія, а нравственное чувство является лишь субъективнымъ отраженіемъ этого чисто интеллектуального подчиненія правилу, субъективнымъ показателемъ того, что воля подчиняется закону, а не основаніемъ этого подчиненія, хотя практически это подчиненіе и не можетъ осуществляться независимо отъ субъективныхъ мотивовъ. Такимъ образомъ, мысль Канта объ опредѣленіи воли *непосредственно* представлениемъ закона или разумомъ¹⁾ во всякомъ случаѣ отмѣчаетъ дѣйствительный фактъ нравственного самосознанія. Въ нравственной области мы хотимъ дѣйствовать по объективнымъ основаніямъ; въ нихъ именно полагаетъ центръ тяжести наше сознаніе. Но въ то же время эти объективные основанія должны быть предметомъ нашего интереса, т. е. ихъ цѣнность должна такъ или иначе отразиться въ субъективной сфере. Такимъ образомъ, наши мотивы должны быть и объективными и субъективными, должны имѣть двѣ стороны. Та и другая сторона остаются неотдѣлимъ другъ отъ друга, притомъ такъ, что объективно законъ представляется основаніемъ чувства, субъективно же чувство обусловливаетъ осуществление закона.—Мы сказали, что эта тѣсная связь нравственного чувства съ объективной формой опредѣленія воли составляетъ отличительную черту нравственной мотивации. Намъ могутъ однако возразить, что здѣсь нѣтъ противоположности между нравственнымъ и всякимъ другимъ побужденіемъ: мы всегда въ сущности заинтересованы извѣстнымъ объектомъ, даннымъ въ видѣ представленія или ощущенія. Въ отвѣтъ на это возраженіе еще разъ укажемъ на основное различие. Важенъ не одинъ только фактическій составъ мотивовъ, но, сверхъ этого послѣдняго, также отношеніе сознанія къ мотивамъ: представление о предметѣ въ существѣ дѣла всегда входитъ въ побужденіе на ряду съ чувствомъ, но между тѣмъ какъ въ другихъ случаяхъ наше сознаніе легко выдѣляетъ чувство изъ представленія, въ области морали, напротивъ, это оказывается безусловно невозможнымъ. Сказать, что наasz интересуетъ не пища, а удовольствіе, всегда можно не оскорбляя здраваго смысла; но сказать, что наasz интересуетъ чув-

¹⁾ Объ этомъ см. ниже.

ство долга или уважение къ принципу, а не самыи принципъ, значить сказать просто-на-просто безсмыслицу¹⁾.

Хотя нравственное чувство въ своемъ элементарномъ видѣ является намъ совершенно непосредственнымъ движениемъ души, обозначающимъ собою только формальное направление чувства вообще, но не составляющимъ опредѣленного вида чувствованій, наряду съ любовью, грустью, надеждой и т. д.; тѣмъ не менѣе среди этихъ послѣднихъ есть одно, природа которого тѣснѣйшимъ образомъ связана съ природою нравственной оцѣнки, и которое поэтому можетъ считаться типичною формою выраженія послѣдней. Таково, какъ справедливо замѣтилъ Кантъ, чувство уваженія, въ которомъ совмѣщаются и чувство нравственной цѣнности въ тѣсномъ смыслѣ слова, и чувство подчиненія долгу.—По мнѣнію Канта, всѣ вообще объекты опредѣляютъ волю къ дѣятельности только посредствомъ удовольствія и неудовольствія и слѣдовательно опредѣляютъ ее эмпирически, такъ какъ способность предметовъ доставлять удовольствіе можетъ быть познана не иначе, какъ опытнымъ путемъ²⁾. Напротивъ разумъ опредѣляетъ волю a priori, слѣдовательно независимо отъ какихъ-либо объектовъ, одною только формою законодательства, данною въ представлениі³⁾. Однако нравственный законъ для того, чтобы быть воспринятымъ каждымъ человѣкомъ въ качествѣ его личнаго практическаго правила,—для того, чтобы онъ, по терминологіи Канта, могъ превратиться изъ объективнаго принципа въ субъективный, или въ *максиму*⁴⁾,—нуждается въ т. н. нравственномъ интересѣ, который и состоить въ чувствѣ уваженія⁵⁾. Это чувство, возникающее на интеллектуальной основѣ, есть единственное чувство, известное намъ a priori, такъ какъ

1) Тѣсная связь нравственного чувства съ своимъ объектомъ не стоптъ въ противорѣчіи съ формальнымъ характеромъ этого чувства, потому что даниая связь представляется нашему сознанію какъ синтетическая, а не какъ аналитическая; съ этой стороны она аналогична съ отношеніемъ удовольствія къ объекту,—хотя въ послѣднемъ случаѣ отношеніе представляется намъ случайнымъ, а въ первомъ—необходимымъ.

2) Kant, Kr. d. pr. V., 22 sq.

3) Kant, Grundleg. z. Metaph. d. Sitten, 19; Kr. d. pr. V., 30 sq. и др.

4) Kr. d. pr. V. 19.

5) Ibid, 95—96.

необходимость его усматривается разумомъ непосредственно изъ того, что нравственный законъ унижаетъ самолюбіе человѣка и уничтожаетъ его самомнѣніе¹⁾. Уваженіе не есть ни чувство удовольствія, ни чувство неудовольствія. По своему отношенію къ эгоизму, оно есть скорѣе непріятное чувство, потому что оно относится къ нему враждебно; вотъ почему мы не охотно оказываемъ людямъ уваженіе, всегда стараясь найти въ нихъ что-либо достойное порицанія и тѣмъ спасти отъ униженія свое самолюбіе. Но съ другой стороны, разъ человѣкъ преодолѣваетъ свой эгоизмъ и даетъ чувству уваженія практическое вліяніе, то онъ „не можетъ насмотреться на величие нравственнаго закона²⁾“. Хотя чувство уваженія знаменуетъ собою *подчиненіе* закону, но это подчиненіе не есть рабское приниженіе, а наоборотъ сопровождается чувствомъ безмѣрнаго *возвышенія* духа, по мѣрѣ того какъ человѣкъ усматриваетъ возвышающійся надъ его тѣлѣнною природою священный законъ, который есть законъ его собственнаго разума³⁾. Именно чрезъ это подчиненіе люди достигаютъ того высшаго достоинства, какое только они могутъ сами себѣ дать. Въ чувствѣ преклоненія передъ закономъ человѣкъ возвышается надъ самимъ собою, поскольку соединяется съ умопостигаемымъ порядкомъ вещей, такъ сказать, переживаетъ свою солидарность съ своимъ *высшимъ я*, которымъ опредѣляется его истинное, единственно достойное его назначеніе⁴⁾. Такимъ образомъ, именно въ чувствѣ уваженія человѣкъ субъективно переживаетъ *безконечное достоинство* своей личности, въ которой моральный законъ открываетъ новую жизнь, независимую отъ животности и отъ всего чувственнаго міра⁵⁾.—Чувство уваженія, по Канту, является совершенною противоположностью всѣмъ вообще склонностямъ. Доселѣ мы видѣли эту противоположность, поскольку она касается природы и происхожденія чувства; соответственно этому и отношеніе чувства уваженія къ волѣ совсѣмъ не таково, какъ отношеніе къ ней склонностей; по-

¹⁾ *Ibid*, 88—89.

²⁾ *Ibid*, 93.

³⁾ *Ibid*, 93. 97.

⁴⁾ *Ibid*, 104.

⁵⁾ *Ibid*, 194.

слѣднія служать *основаніемъ*, опредѣляющими волю къ дѣятельности, напротивъ уваженіе отражаетъ собою въ субъективной сфере и сообразно условіямъ чувственной природы самый фактъ подчиненія воли закону: не потому человѣкъ подчиняется закону, что онъ уважаетъ законъ; послѣдній опредѣляетъ волю непосредственно своимъ представленіемъ; но потому, наоборотъ, является уваженіе, что воля подчиняется закону¹⁾. „Уваженіе къ закону не есть побужденіе къ нравственности, но она есть сама нравственность, рассматриваемая субъективно какъ побужденіе²⁾.“ Иначе говоря, это лишь та форма, въ которой чисто интеллектуальный актъ признанія надъ собою власти закона выражается примѣнительно къ условіямъ чувственного существованія; съ другой стороны, это и побужденіе для нашей рѣшимости осуществлять нравственный законъ,—поскольку этому мѣшаютъ склонности, поборъ которыхъ помогаетъ уваженіе къ закону³⁾.

Въ ученіи Канта обѣ уваженій оказывается одинъ общий недостатокъ его морали, именно, слишкомъ ригористичное отношеніе къ склонностямъ. То крайнее противоположеніе между уваженіемъ и склонностями, которое мы находимъ у Канта, едва ли можетъ быть признано законнымъ. Несомнѣнно, что само уваженіе въ извѣстномъ смыслѣ должно быть названо склонностью, совсѣмъ не чуждою свдемонистического оттѣнка. Самъ Кантъ, сказавши, что уваженіе не есть ни удовольствіе, ни неудовольствіе, однако тотчасъ же вслѣдъ затѣмъ находить въ немъ элементы того и другого. Кантъ полагалъ, что допускать влияніе склонностей на ряду съ долгомъ—значить „загрязнять моральное настроеніе въ его источникѣ“. Нравственный законъ не выносить союза со склонностями: если бы мы попробовали смѣшать эти два элемента и поднести большою душѣ въ качествѣ цѣлебнаго средства, то они тотчасъ же сами собою разъединились бы, или нравственный законъ совсѣмъ пересталъ бы дѣйствовать⁴⁾. Нельзя не признать, что такое строгое разграничение

¹⁾ Grundleg. z. Metaph. d. Sitten, 19—20 примѣч.; ср. 35 примѣч.

²⁾ Kr. d. pr. V. 91.

³⁾ Ibid. 95—96, 107.

⁴⁾ Ibid, 107, 27.

ніе нравственаго побужденія отъ евдемонистического полезно для уясненія истинной природы первого изъ нихъ, но это лишь до тѣхъ поръ, пока мы хорошо помнимъ, что имѣемъ дѣло исключительно съ нашей абстракціей, которой дѣйствительность не только не соотвѣтствуетъ, но и не можетъ соотвѣтствовать. Въ реальной дѣйствительности нравственное побужденіе и склонности не только не стремятся съ неудержимою силою въ противоположныя стороны, а всегда и неизбѣжно другъ друга предполагаютъ какъ неразлучные союзники. Стремленіе разрушить этотъ союзъ только вносить дисгармонію въ природу человѣка и лишаетъ самую добродѣтель одной изъ ея опоръ. Притомъ же это предпріятіе ни въ какомъ случаѣ не можетъ быть доказано до конца: не слѣдуетъ забывать, что нравственность всегда и неизбѣжно представляеть собою не только известнаго рода интеллектуальное прозрѣніе, освѣщающее жизнь совершению новымъ свѣтомъ, но также сумму естественныхъ, исторически сложившихся склонностей, удовлетвореніе или неудовлетвореніе которыхъ необходимо вызываетъ пріятныя или непріятныя чувства; и это обстоятельство нужно признать вовсе не разрушительнымъ, а напротивъ благопріятнымъ для нравственности, потому что оно оказывается послѣдней существенную поддержку въ ея нелегкой борьбѣ съ враждебными ей наклонностями и мотивами.— Итакъ, мы должны признать, что чувствоуваженія, по скольку оно есть естественная склонность, не составляеть исключенія изъ другихъ чувствъ: евдемонистической элементь въ немъ неизбѣженъ, какъ и въ чувствѣ любви, печали и т. д. Но указать на это вовсе не значитъ однако обнаружить, что Кантъ былъ неправъ, выдѣляяуваженіе изъ числа всѣхъ вообще склонностей. Во всякомъ другомъ случаѣ чувства удовольствія и неудовольствія могутъ являться сознанію, какъ достаточныя основанія для дѣятельности. Напротивъ въ чувствѣуваженія эти основанія совсѣмъ иного рода и заключаются въ чисто нравственной оцѣнкѣ предметауваженія. Вотъ почему даже въ тѣхъ случаяхъ, когдауваженіе непріятно для нашего самолюбія, мы ни на минуту не сомнѣваемся въ высшей цѣнности поведенія, сообразнаго чувствууваженія, или въ высшей цѣнности того образца поведенія, который намъ

дается объектомъ уваженія. Съ другой стороны, и то приятное состояніе души, когда она въ чувствѣ уваженія, по словамъ Канта, „не можетъ насмотретьтъся на величіе нравственнаго закона“, является мотивомъ нравственнымъ только потому, что чувство удовольствія соединяется здѣсь съ чувствомъ нравственной высоты: это два направленія чувства, которые, какъ бы тѣсно они ни объединялись, всегда остаются между собою ясно различимыми и не уничтожаютъ самостоятельности другъ друга. Итакъ, намъ кажется, что въ чувствѣ уваженія есть элементъ нравственного побужденія, совершенно не отдѣлимый отъ природы этого чувства. Поэтому Кантъ былъ правъ, выдѣляя чувство уваженія изъ числа другихъ чувствъ, какъ единственное, которое заслуживаетъ названія *морального чувства*.¹⁾

Мы видимъ, такимъ образомъ, что наше воззрѣніе на природу нравственной оцѣнки находитъ себѣ точку опоры въ учениі Канта. Для того, чтобы убѣдиться, насколько въ этомъ случаѣ Кантъ является вѣрнымъ истолкователемъ данныхъ нравственного самосознанія, интересно сравнить его съ мыслителемъ противоположного лагеря и, повидимому, совершеннымъ его антиподомъ — Миллемъ. Когда послѣдний говоритъ, что въ основѣ качественнаго различенія удовольствій лежитъ чувство человѣческаго достоинства, то онъ въ сущности ссылается на то же самое уваженіе, которое здѣсь является намъ въ формѣ самоуваженія. Если чувство собственнаго достоинства не понимать въ смыслѣ той пошлой юнкерской морали, которая „на ногу себѣ наступить не позволить“, въ смыслѣ щепетильнаго обереганія своей т. н. „чести“, которая есть не что иное, какъ видь грубаго, мелочного самолюбія, или надутаго чванства, — то это будетъ именно уваженіе къ представителю нравственнаго закона, который одинъ только есть источникъ истиннаго человѣческаго достоинства. Такимъ образомъ, мысль Милля, что предпочтеніе качественно высшихъ удовольствій сводится къ чувству собственнаго достоинства, весьма легко перевести на Кантовскій языкъ, сказавши, что это предпочтеніе заключаетъ въ себѣ элементъ уваженія къ нравственному закону. Съ другой стороны, самъ

¹⁾ Kr. d. pr. V., 90. 96.

Кантъ уваженіе къ нравственному закону называетъ уваженіемъ къ человѣческому достоинству. Когда мы видимъ, что мыслители двухъ противоположныхъ лагерей подъ различными словесными выраженіями скрываютъ существенно сходныя мысли, то въ большинствѣ случаевъ это доказываетъ, что мы имѣемъ здѣсь зерно истины. По отношенію къ Кантовскому ученію о чувствѣ уваженія это означаетъ, что Кантъ, со свойственною ему философскою проницательностью, выдвинулъ на видъ самую типичную форму выражения нравственной оцѣнки, наиболѣе ясно отражающую основной признакъ постѣдней, какъ чувства преклоненія предъ высшимъ,—преклоненія, не призывающаго, а возвышающаго душу, поскольку она здѣсь чувствуетъ свою солидарность съ высшимъ и пріобщается ему.

Въ чувствѣ уваженія съ особенною наглядностью сказывается одна весьма существенная черта нравственной оцѣнки, именно,—яя ближайшее средство съ религіозными эмоціями: уваженіе и благоговѣніе суть двѣ различные степени одного и того же чувства, и у Канта иногда эти понятія даже употребляются, какъ взаимозамѣнимыя¹⁾; но если уваженіе заслуживаетъ по преимуществу названія морального чувства, то благоговѣніе въ такой же степени заслуживаетъ названія религіознаго чувства. Высота нравственного идеала всегда почитается нами какъ святыня, какъ нечто божественное. Нравственное чувство въ наиболѣе яркихъ своихъ проявленіяхъ получаетъ признаки религіозной вѣры, религіознаго восторга или созерцанія, религіозной преданности и покорности. Холодный категорический императивъ превращается въ высший священный авторитетъ, наполняющей сердце религіознымъ умиленіемъ. У Канта, многократно называющаго нравственный законъ святымъ, самый стиль иногда по отношенію къ нравственному долгу принимаетъ признаки религіознаго одушевленія.²⁾ Но эта черта свойственна не одному только философскому сознанію. Народный языкъ, называющій совѣсть голосомъ Божіимъ, выражаетъ также не что иное, какъ непосредственно присущій нравственному чувству религіозный ха-

¹⁾ Kr. d. pr. V., 99, 194.

²⁾ Ibid., 104.

рактеръ. Это свойство нравственного чувства служить наилучшей гарантіей для прочности той связи, которая всегда объединяетъ между собою религію и мораль. Но даже и тамъ, гдѣ изсякаетъ религіозное чувство въ собственномъ смыслѣ слова, нравственность не утрачиваетъ своего религіознаго оттѣнка; напротивъ, очень часто послѣдній усиливается до такой степени, что религіозная вѣра какъ бы цѣликомъ перевоплощается въ моральную, и нравственность обращается въ своего рода религію. „Если въ наши дни, пишетъ французскій философъ, религіозная вѣра въ собственномъ смыслѣ слова клонится къ исчезновенію, то она во многихъ умахъ замѣщается вѣрой моральной. Абсолютное перемѣстилось; оно перешло изъ области религіи въ область этики“¹⁾). Это—явленіе довольно понятное: абсолютное въ этомъ случаѣ не перемѣщается въ новую для него область; оно лишь сосредоточивается вполнѣ тамъ, гдѣ оно раньше было только отчасти. Нравственный долгъ уже самъ по себѣ есть нечто абсолютное: это—безусловный, священный авторитетъ, который тѣмъ болѣе имѣеть общаго съ религіей, что онъ въ то же время есть авторитетъ невидимый. Мораль по самому существу своему содержитъ въ себѣ элементъ религіи.

H. Городенскій.

¹⁾ Guyau, *Esquisse d' une morale*, p. 116.